Сергей Катуков
Мастер облаков
Сборник рассказов

Сергей Катуков

Мастер облаков. Сборник рассказов

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23282896
ISBN 9785448382529

Аннотация

В сборник вошли рассказы и повесть, опубликованные в разное время (2013—2017гг.) в литературных журналах «Новая Юность», «Сибирские огни», «Космопорт», «Edita», «Мир фантастики», «Искатель», фэнзине «Притяжение», сборнике «Свои миры».Повесть «Лабиринт двойников» возглавила избранное журнала «Новая Юность» за 2015 г., рассказ «Татуировщик снов» публиковался в журналах «Космопорт», «Edita», «Мир фантастики».

Содержание

1Татуировщик снов 5
2Лабиринт двойников. Повесть 49
Конец ознакомительного фрагмента. 79

Мастер облаков
Сборник рассказов

Сергей Катуков

© Сергей Катуков, 2018

ISBN 978-5-4483-8252-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

[1]Татуировщик снов

1.

Впервые о нем я услышал давно. Странная, нелепая и в то же время спасительная для меня новость. Заброшенная вначале, как мелкая иглистая искра в сено, она долго лежала в памяти и тлела. Но со временем мысли о нем стали приходить все чаще, вращаться все длительнее, и, наконец, уже не давали мне сомкнуть по ночам глаз.

Говорили, что его не существует вообще или есть некто подобный, но рассказы о нем сильно преувеличены. Пойти же к нему было бы невозможной самоуверенностью, и я долго не решался о нем спросить. И постепенно снова забывал.

Но в богемном мире многие его знали. И когда штурвал разговоров среди друзей совершил полный круг, корабль предчувствий повернул на прежний путь бессониц и ночных видений.

– Как мне его найти? – спросил я однажды Лео.

– Ты о татуировщике?

[1] Публиковался в журналах «Космопорт», «Edita», «Мир фантастики»

Он стоял вполоборота к окну и, помешивая кофе, пробовал, не остыл ли тот.

Тень от оконной рамы ровным сгибом пересекала крепкую фигуру Лео, его пушкинистое хитрое лицо, густой рыжий левый бакенбард, суровый – рыком хищника – невыспавшийся глаз, фарфоровое яйцо подбородка.

Графическая карандашная тень падала далее через всю комнату на пол косой спиной, поверженной ярким утренним солнцем.

– Я могу спросить о нем. К нему всегда кто-нибудь ходит. Но ты ведь еще не уверен, хочешь ли пойти.

– Нет, я уверен.

Лео поджал губы и посмотрел на рисунок кофейной пенки в чашке.

– Ты не боишься, что твоя жизнь изменится?

– Жизнь меняется каждый день, только мы этого не замечаем.

Он расслабился и посмотрел в окно.

– Тогда лады. Скоро ты с ним познакомишься.

Трудно быть хорошим художником – вообще. А в окружении других художников – еще труднее.

Меня в шутку называли Гефестом – из-за тяжеловесности и излишне тщательной подготовки, которую я уделял картинам.

– Никогда не выставляйся в одиночку, – сказал однажды

Лео, – Всегда с кем-нибудь. Зрителю нужно разнообразие.

Он делился ценными советами. Особенно легко они удавались при его успехах на фоне моих кропотливых трудов.

Многие думали, что я ему завидовал.

Нет. Просто у него была хорошая фантазия и твердая рука.

Через неделю, ближе к вечеру, ко мне пришел один из наших общих с Лео друзей.

Я как раз грунтовал холст и размягчал кисти.

– Пойдем, а то у же темнеет, – сказал он, пристально посмотрев мне в лицо.

Я все понял и, отложив кисти, вытер руки.

Мы сели в трамвай и поехали в старый город.

Небо темнело, в окнах появлялись огни, смотревшие, как я буду проезжать мимо них в последний раз прежним, знакомым себе и остальным, человеком.

На одной из остановок, неожиданно возникшей из грохота, друг дернул меня за рукав, пока я отвлеченным взглядом беседовал с островком светлого неба. Голубого, с вечерней сизеватостью, окруженного рыхлыми облачками. Мы быстро выбежали.

Попав под прозрачный колпак ржавого фонарного света, накрывавшего остановку, я увидел возле лампы дрожащую

сетку насекомых, плененных ее тусклым светом.

Можно было подумать, посмотрев на это чрезвычайно карликовое, утрированное солнце и темноту вокруг него, что мы оказались не в центре большого, шумного мегаполиса, а в далекой галактике провинциального городка, в котором ночь стирала границы жилых окраин.

Пошли темным и глухим, как водосточная труба, переулком.

По сторонам дороги стояли, заглохшие в губчатом пространстве садов, старые особняки.

Вошли в большой внутренний двор одной из усадеб.

Его наискосок прорезала дорожка, в основании которой изразцовые, позапрошлого века, почти стершиеся плитки, заиливались земляным медленным приливом.

В глубине двора-сада светился старой посеревшей штукатуркой дом, выдвигая перед нами поросшее каменное крыльцо. Его квадратные волны ступеней скатывались в темноту травы. И я подумал, что ночь приходит снизу и земная поросль принимает ее первой.

В доме – древнем, особняковом, дворянском, полуразваленном рыдване, – еще все-таки теплился живой огонь – точно в остаток стеклянного разбитого, исколотого окнонного уголка смотрело заходящее, горькое, багряное солнце.

Внутри – глухо. Стены мертвы, как сваленные лицом вниз статуи.

Пройдя глубоко внутрь дома, следом за своим проводником, я оказался перед широкой двустворчатой дверью. Она не могла закрываться плотно, потому что здание, стремившееся внутрь себя, в центр, словно каменный водоворот, исказило линии стен. И створки, уже давно, может быть, лет сто назад, сошлись на общем решении закрываться не совсем, а только своими верхними частями. Снизу, из острого пустого треугольника сочился истрепанным, бархатно-рваным одеялом воздух оттенка красноватого чая.

Я посмотрел в лицо друга и вошел.

2.

Комната была мастерской.

Большая, словно старая разбитая лохань, чьи края заваливались в темноту, а резкая трещина света голой, не смягченной абажуром, лампочки разбивала ее по днищу на две несоразмерные части.

В темноте стелилось тряпье, багеты, пустые рамы, надевшие на себя обнаженную пустоту.

На половине, где освещение более властно захватывало комнату, – длинный стол, заваленный холстами, между которыми сквозили полотна досок.

На холсты тяжелыми кайлами брошены якори молотков, удерживая тени призрачных кораблей, вытянутых по шероховатой побелке стен.

Большой верстак. Зубила, напильники, надфили, пилы, точильный круг, струбцина, металлические кудряшки оборванных лобзиковых пилок, разобранные рубанки, оселок, тиски, ровно оторванные куски шлифовальной бумаги, осыпавшей вокруг себя мелкие асфальтовые крошки.

Деревянные чурбаки, бруски, колоды, заготовки разных форм и размеров замерли клоунадой древесного анатомического театра. Спящие неразобранным тяжелым сном болванки: мумии будущих кукол, грубые куколки изящных статуэток, теплые золотистые хризалиды сосновых пластинок, из которых распустятся вееры реек…

За столом, спиной ко мне, ворочая локтями, с завязками рабочего фартука на пояснице, стоял человек. С маленьким и широким, как пень, телом, на котором стоял пень чуть меньшего размера – голова, неподвижная и бесшейная.

– Зачем пришел? – спросил он меня нерусским, крикливым голосом.

Я шагнул вперед.

Перестав работать, он едва повернулся.

– Я думал, что вы знаете…

– Что ты хочешь? – последнее слово произнеслось как «хэчэшэ», гортанным, холодным и негибким тембром. Он повернулся еще немного – как тяжелая деревянная колода.

Это был низенький старый татарин, с плотным, словно

скрученный матрац, телом. Чрезмерно большая голова лежала тяжелым основанием на квадратных плечах. Фигура степной каменной бабы, поставленной межевой вехой между нашим и чужим веком. Черты лица расплывались от долгого ветра времени, столетиями проходившего ладонями по ним, постепенно сглаживая их в простую угрюмую маску языческого идола.

– Вы – татуировщик?

– Да, я. – сказал татарин и присел на низкую скамейку, стоявшую рядом. На плоском лице, натягивая кожу и придавая ему чуть более объемный вид, появилась улыбка, сощурившая глаза.

– Я хотел бы… как мне говорили… что вы можете это сделать…

Человек улыбнулся еще шире, мослаки округлились оборотной стороной деревянных ложек. Глаза колко блестнули и из-под губ показались крупные и крепкие матовые зубы.

– Богатства хэчэшэ, славы хэчэше? – произнес татарин ровным, неподвижным голосом. – А вот садыс. – и он показал мне перед собой.

Я огляделся. Никакого стула или подходящего предмета, чтобы присесть, не было.

– А так садыс.

Я сел на пол. Теперь татарин оказался выше. Его лицо, как выпуклая часть барельефа, вылепливалось вперед черной тенью под натиском яркого света, бившего сзади. Смот-

реть было больно. Но как только я подвигался, чтобы заслонить свет его фигурой, он тоже неспеша сдвигался.

– Закрой глаза.

Я закрыл.

Черная луна черным реверсом яркой лампы вспыхнула под веками, и один оплавленный лунный бок засинел, оставляя короткими когтистыми следами бархатные борозды. Луна стояла на месте, а полосы, съедавшие ее монетную ровность, съеживались в тень. Тень полукружием неритмично то увеличивалась, то сжималась – это медленно, из стороны в сторону, качалась голова татарина, под чьим грузным телом поскрипывала скамья. Послышалось угрюмое, хриплое пенье, маятником ходившее слева направо, слева направо.

«Значит, это действительно, – он, татуировщик. – спокойно подумал я, поднимая голову и вдыхая запах свежих сосновых досок, заполнявшего внимание. – И почему раньше я не слышал его, этот прекрасный, богатый и сочный аромат. Он струится из свежих разломов сосновых мачт. Целый лес мачт задевает вершинами облака». Но вот облака, осветленные далеким белым солнцем, расправились, распустились крыльями морских птиц, и стало свободно и широко. Лес исчез, на его место осело море. Стало пустынно, и крики чаек, – слева направо, слева направо, – замелькали, носясь, мельтеша и скрывая черную, овальную луну. Ее от-

ражение колебалось во впадинах волн перед кораблем, ровно и одновременно с его мачтами.

И я сам бы кораблем и сам колебался на волнах, и двигался с кораблем и с луной одновременно – так же, как тень от столба, которую расшатывал конус ржавого фонарного света. А в устье его желтого сияния, возле самой лампы – безвольной, разреженной сеткой толклись насекомые.

Было тихо и спокойно. Умиротворенно. Ничего, кроме свечения, одинокого столба и тихих, безвольных насекомых, еле слышно трепетавших крылышками и стучавших тонкими язычками звонов об электрическую лампу, не существовало.

И я полетел к ним. Чувствуя, как за спиной кружится и взвихривается прохладный воздух, вентилируемый хрупкими, натянутыми на вытянутые обода, хитиновыми слюдяными крыльцами.

Я был одним из них – с равнодушными, терпеливыми глазами, распадавшимися на мелкие, единичные фасетки, в каждой из которых горел синим телевизионным экраном один и тот же сюжет. Я – один из них, потому что все они мне знакомы, все художники из моего окружения. Вот Лео – большой длинный комар, с огромными набрякшими глазами, в которых бьется ровным лилово-синим цветом неясный двойной абрис.

Тысячи мелких глаз комара приблизись ко мне: в верхних отсвечивает смутный, неразличимый, синеватый сюжет, а в нижних – отражение кофейно-коричневого наноса в чашке. В центральных фасетках сырым стеклом дрожит насекомоподобный человек, с жаждой и терпением смотрящий в эти бесконечные равнодушные зеркальца – это я.

3.

Очнувшись от того, что тень татарина заслонила свет и видение исчезло, я открыл глаза и увидел его каменное, с оспяными выщербинами лицо близко к себе.

Потом он удовлетворенно отодвинулся.

В этой его удовлетворенности торжествовала хищная, абсолютная сытость насекомого. То личное, тайное, оголенное, что он выпотрошил из моего видения, вызвало на его лице маленькую, кривую насмешку. А черный глаз, блестя, медленно проплыл над тяжелым поворотом айсберга тела обратно к столу.

По толстой нижней губе хищным соком стекала тонкая паутинка слюны.

Всю дорогу, пока мы шли вместе, я не сказал другу ни слова.

Он понимающе молчал. Мы расстались незаметно, словно во сне.

И из этого сна, начавшегося с трамвайной остановки, просочившегося затем сквозь кирпичную рухлядь дома в красноватый проем двери, в отшлифованную электрическим светом мастерскую, в черно-лиловую дрёму татарина-маятника, – из этого сна я перешел в свои новые, неповторимые – нигде, ни у кого.

4.

Я рисовал целый день. Сорванные шторы валялись нищенской мешковиной под низким подоконником, постамент которого попирала обнаженная, природная натура света. Свет был абсолютно прекрасен и абсолютно гол. Только рамы и крестовины широкого окна сдерживали сияние этой живой, первородной, нерукотворной статуи.

Что я увидел и что рисовал?

Почему мне теперь стало понятно имя «татуировщика снов»?

Бывают озарения длиною в комариный писк.

Секунды разряда чистого восприятия.

Когда сознание выбивается резким головокружительным хлопком из своей темной, тесной колбы и расширяется безостановочно и свободно, как Вселенная в первые секунды творения.

Ощущение счастья, свободы, беспечности и произвольно-

сти вдруг определяется как норма и руководит тем, что было сознанием. Но его уже нет. Есть внешняя, безупречная, всесильная очевидность.

Тонкая граница между счастьем и безумием сдерживается едва лишь некоторой сероватой тенью присутствия наблюдения.

Это есть вдохновение.

Способность, дарованная татуировщиком, давала наблюдать это ощущение как замедленное, четкое, разделимое по всем молниевым прожилкам и членикам дыхание анатомии вдохновения. Словно он, как паук, пленял его крылья, обволакивал их; не усмирял, но погружал в томительный, медовый, бархатно-плывучий сон.

Визуально это чудо воспринималось как сияние чистых, сразу схватываемых интуицией цветов.

Как если бы человеческий глаз, случайно слепленный слепым хасом, впервые прозрел первозданное, неназванное Бытие.

Я рисовал так, точно на мои глаза было нататуировано всё, что я увидел во сне.

Широкая, объемная, студенисто подрагивающая картина.

К вечеру, не отвлекшись совершенно ни на одну постороннюю мысль и физиологическую потребность – как я ду-

мал, – я завершил работу.

В комнате горел свет – не помню, когда он был включен. На столе стояла бутылка с кефиром – пригубленная и облизанная вязко-крахмальным белым языком подтека на горлышке. Взлянув на нее, я испытал сильную слабость и тошноту голода.

Я завесил картину, допил кефир, погасил свет и заснул.

5.

В следующие два дня я продолжил рисовать.

Настроение было отличное, вдохновение свежими дивными цветами поместилось в вазе утреннего спокойствия.

В глазах стояло последнее сновидение – каждое утро это был новый набросок – такой яркой и детальной памяти, словно он отпечатывался на сетчатках.

Делая зарисовки, – в последний раз мне приснилась не целая картина, а несколько разрозненных эпизодов-эскизов, – я обдумывал, что со мной произошло.

По рассказам я знал, что татуировщик дает каждому, кто к нему приходит, возможность настоящей, глубокой самореализации. Во время гипнотического транса он высвобождает в «тонком

теле» человека, образно говоря, нити, тонкие волокна

его творческой энергии. Как будто очищает душевную кожу и дает колыханиям этих тонких паутинок воспарить. Чувства обостряются из-за трепетания воображаемых творческих «щупалец».

Но взамен приходится отдать часть энергии, проходящей по этим же паутинкам.

В действительности, ситуация могла бы выглядеть так, будто большой хищный жадный паук, сидящий в невидимом поле тяготения, подвешен на энергетической паутине, а в ней завязшими насекомыми дергались художники, производя свои творческие потуги.

Возникал симбиоз «хозяин-жертва», в котором каждая сторона исполняла свою роль.

Было ли мне обидно быть в роли жертвы?

Мог ли творец, получивший импульс вдохновения, быть жертвой?

«Люди испокон веков живут в подобных сетях, – размышлял я. – Рабовладелец и раб, работодатель и работник; кто платит деньги и кто их отрабатывает. Они всю жизнь связаны подобными гравитационными отношениями. Каждый день ходят на работу, скользя по этим линиям в центр, приближаются к пауку и отдают энергию в виде затраченного труда и времени своей жизни. А потом отвозят домой свою, преобразованную в деньги, долю энергии… Мы точно такие же.

К тому же я полгода не мог нарисовать ничего толкового… только и всего, взял энергию в кредит… то, что придется расплачиваться с процентами… так все делают… ипотечная энергия… я буду хорошо работать, как я обычно… внутри этой паучьей терминологии… как муравей. Маленький, трудолюбивый рабочий-муравей. Ничего не решает, трудится над своей внутренней жизнью».

В конце концов, я просто получил трудоустройство, конечно, своеобразное, – но, по сути, не многим отличавшееся от того, которым существуют обычные люди.

6.

Через два дня ко мне наведался Лео, со своей мадам и тем самым общим другом.

Он был взбудоражен, в нетерпении бил себя хвостом по бокам, весело шумел, от его окрытой шеи пахло фруктовыми винами, теплым потом и где-то по краям пиджачных рукавов и воротов рубашки, отвернутых белым канцелярским листом – дорогим парфюмом. Он снова напоминал того подвижного, беспафосного, смешливого Лёву Сизова, с которым я вместе когда-то учился у нашего художественного мастера. Носясь по мастерской, хватал мои картины и выкрикивал:

– Вот эта?! Или эта?

Мадам – тонкая, худая, с запястьями, которые, без сомнения, можно было обхватить цепочкой из десятка муравьев, – раздвигая длинные суконные подолы платья, словно снежные сугробы, слонялась вслед за Лео. Похожая на породистую, анорексичную борзую, с вытянутой – горлом вазы – шеей, под прозрачной стеклянной кожей которой светились синие жилки. Треугольный голос «мадам Лалик» (конечно, это был творческий псевдоним) поднимался и ударялся своей вершиной о потолок, когда она заходила в дальний угол моей комнаты, где косой скат крыши делался очевидным. Да, ее голос, начинаясь широким низким тембром, затем утончался, иссякая на верхушке слабым беспомощным сипом:

– Леооо, вот смотри, какой эскииииз… какие синие квадраатыыыы…

Общим знакомым был Алеша Белкин. Карикатурист с грустным и усталым характером. Всегда спокойный и печальный, сдержанно-настороженный, как сложенные друг на друга блюдца, венчающие высокий стакан. И поэтому он старался особо не расшатываться, не звенеть, а соблюдать ровную осанку и незаметность, словно боясь, что Лео заденет его локтем. Впрочем, он также напоминал прямоугольный спичечный коробок – из-за своего пиджака, бело-пестрого посредине, и с коричневыми вельветовыми рукавами.

Троица – Алеша со скептически сложенным ртом, под-

держанным лежащей восьмеркой рук, «прислонясь к дверному косяку»; «мадам Лалик», шурующая астеничными ногами в гардине платья над грядками картин, и Лео, разбавляющий этот пресный пейзаж фруктовым, громким голосом – в общем, эта тройка никогда в таком составе раньше ко мне не заявлялась.

Перестав бегать, глава троицы сел возле окна, потирая затылок и смеясь:

– И где твой последний шедевр? Мы все в нетерпении. – Стало вдруг заметно, что это нервное. Под глазами у него лежали круги, щеки нервно щурились, взгляд бегал.

Я перехватил его короткий бросок к алешиным глазам и о чем-то смутно догадался.

Белкин оторвался от двери и пошел к большой завешенной картине, стоявшей у противоположной стены, возле окна, почти за спиной Лео.

– Ах, вот она где! – Лео.

– Да так… да, новое. – я.

– Какие синие углыыы. – косо пропев, осеклась, мадам.

Алеша на вытянутых руках держал мою последню, – ту, первую, после татуировщика, – законченную картину.

7.

Что было на этой картине?

Читатель, кажется, помнит о ней, – чистом, первом опыте нового взгляда на белое полотно холста.

В тот раз, сразу после посещения татуировщика, я решил, что моя новая картина должна быть чем-то вроде воздуха. Едва сгустившегося, едва заметно натянутого на подрамник. Она должна быть окном в новый день, куда зритель непременно захотел бы переступить. Из своего безобразно старого житья. Из своих мыслей, перекипевших, повторенных, из их напластований. Из цветов, плоских желто-бежевых, коричневых, поджаренных и заскорузлых. Именно это я почувствовал во сне: желание нового и чистого.

Представьте большую комнату. Но не квадратную, нет. Не прямоугольную. Не с параллельными стенами. Стены ее, хотя и ровные и покрашены гладко и незаметно переходящим в оттенки синим цветом, уходят из одного угла картины в другой наискосок, теряясь в дальней перспективе темнеющим инеем. Эта комната – синее, с разной степенью плотности и овеществленности пространство. И в него помещен морской порт. Просторный, проветренный, томительно-синий средневековый амстердамский порт. Как будто это огромный зал, бесконечно вместительный, чьи стены выложены картами облаков, а в небе зала бесшовно встречены друг с другом поднятые до небес стены. И плавают в этой синеве корабли – вместе с облаками, и нет границы между

водой и воздухом, и они переплетаются между собой и дружат: белый, фарфоровый и синий, инеевый, и корабельный, теплый, потреснутый кракелюрами и прожилками древесного мрамора.

8.

Я посмотрел на профиль Лео.

Было мгновение, как на повернутой ко мне части его лица отразилась внутренняя, короткая мука. Борьба между любовью и отчуждением. Он, словно лис в винограднике, – исходя муками желания и недостижимости – то падал взглядом в картину, забываясь, хищно поглащая цвета, то отторгал ее, отдергиваясь, и тогда ладони в карманах судорожно перебирали вместо щеточки отсутствующей кисти скользкую подкладку пиджака.

Леша и «мадам Лалик» пребывали в медленной задумчивости. Словно две вещи, поставленные в угол.

– А, каково? – голос Лео оглушил их по спинам. – Пора идти-ка, господа!

В этих «господах» скрученной, пружинистой интонацией зазвенела зависть.

Ее вибрации, сдерживаемые и переиначиваемые в дружескую гордость, непривычно колебались в раздраженных и сопротивляющихся голосовых связках.

Парочка зашевелилась и направились к двери.

– А я же говорил когда-то, – произносил задумчиво Леша, настойчиво направляемый к двери под локоть, – насчет Тимоши. Талантливый, в сущности, художник. Но несчастный.

Двое, сопровождаемые толчками Лео, уже были почти возле двери, когда он повернулся и быстро проговорил:

– Мы зачем пришли к тебе? Возьмешь свои лучшие холсты. Поедешь с нами. К Вите.

– Эту?

– Эту не бери. Другие. Хоть штук десять. Посочнее там всякие. Натюрморты. Обнаженные натуры. Поцветнее. Только не кислые. У Вити изжога. – На последних словах он загоготал, обняв со спины свою тощую, как кисточка, музу.

Я быстро скатал несколько рулонов, перехватил их резинками и, успев всунуть в рукава плаща только одну руку, скользя по пыльному полу, выбежал из квартиры. Потом, чуть замешкавшись, закрывая замок, поскакал вниз по лестнице за шумевшей внизу троицей.

9.

Витя был нашим «кружковским меценатом». Огромный, толстый, как гамбургер – с постоянно торчавшей горчицей галстука и ветчиной незаправленной рубашки. От него пахло мясным потом, выделявшимся прозрачным соком на крас-

ной маленькой помидорине лысой башки. В девяностые он подвизался вышибалой в ночных клубах. Потом дорос до охранника будущего олигарха. Потом стоял во главе службы безопасности действующего олигарха. Пока того не посадили. А Витю тогда уже поставили – новым олигархом на место бывшего. Продолжать стоять под защитой своих недавних коллег-охранников.

«Преемственность поколений, чё», – басил он, кушая и отрыгивая, и снова кушая, и снова отрыгивая.

Вите, конечно, до мецената, как олигарху – до святого. Искусство он не понимал и не любил. До тех пор, пока ему не показали, как можно трансформировать и надежно хранить сбережения в навечно присохшей к холстине разноцветной мазне. К тому же, устраивая выставки, он как-то удачно попадал под программу поддержки молодых талантов и миновал таким образом части налогов.

Лео был его «консультантом по искусству», к мнению которого он прислушивался безоговорочно и совершенно капитуляционно, беспомощно млея от одних только рыжих львиных бакенбардов.

Впрочем, Лео честно отрабатывал свои деньги, поставляя в коллекцию первоклассные картины неизвестных художников и тем самым спасая их. Но в запасниках местами хранилась и совершенная чушь, настоящая простоволосая бездар-

ность.

Пока мы перескакивали между пробками из Замосворечья к высотке на Кудринской площади, улица обдала «форд», за рулем которого на манер Юры Деточкина согнулся Леша, освежающим июньским дождем. А обогнавшая поливальная машина надменно охлестала сметенной с мостовой грязью. Дождь промелькнул чистым, невинным прогалом в темной дорожной суете.

«Побывать у Вити» означало приглашение в новую, устроенную художническую жизнь. Продажа старых холстов и заказы на новые. Без критики, переделок и отбора. Попавшим в ближний круг гарантировалось твердое и слепое доверие. Что бы ни нарисовал – богатый Витя купит.

Я раньше, конечно, никогда не бывал ни у Вити, ни в его «сталинской высотке».

Этот гигантский каменный, зашпиленный в небо удивительно равнобедренной звездой, торт запоминался с детства любому, кто бывал в близлежащих зоопарке или планетарии. Ниже звезды торчала тернистая решетка ограждения. И, без сомнения, именно ее пятиконечный образ, охраняемый острыми шипами, воплощался во фразе «Через тернии к звездам», которую повторяли поколения учителей доверчивым школьникам. Пожалуй, латинское per aspera ad astra звучало и тернистее, и правдивее, потому что мертвые языки не врут.

Но звезда была одна, и на всех ее не хватало. Засыпая, я иногда представлял, как сжимаю в ладони равнобедренные колкие наконечники. Словно сам был огромным, зараженный «гигантской болезнью» потолков, колонн и лепнины, виденных там же, в магазине этой высотки, на ее первом этаже.

Теперь я ожидал, что моя мечта – схватить звезду на ее недосягаемом пике – обретет какое-то воплощение. Хотя бы фигуральное.

Мы вошли не в центральный, а в левый боковой подъезд. Поднялись на четырнадцатый этаж. В длинных, широких холлах, покрытых плоским – по-древнеегипетски – рисунком паркета, ходившим ровными угловыми волнами, гнездились окладистые квадратные выемки дверей. Лакированные, темно-керамического цвета – словно лицевые стороны библиотечных ящиков. А в них, соответствуя всему: пирамиде здания, замершим плоским волнам паркета, разлитым по всем этажам, ар-деко колонн и ступенчатым панелям потолков – лежали в своих лже-гробницах лже-фараоны.

Перед лифтами – половички». Напротив – с подставками, похожими на секретер, впаяны в стены большие арочные театральные зеркала.

Возле одной двери, на стульях с подлокотниками, сторожевыми бульдогами сидели два Витиных охранника. Два огромных «зефирных человека» – мощные, запеленутые му-

мии – с детски-настырными, бульдожьими лицами. В каждом лице – по гамбургеру.

Узнав Лео, один из них, прожевывая массу мяса, односложно промычал в рацию. Дверной замок щелкнул изнутри, дверь открылась, мы вошли.

10.

Витина квартира выходила окнами не на Садовое, а на Красную Пресню.

Видимо, из соображений большей безопасности.

Квартира в этом случае не просматривалась с улицы – за отсутствием зданий подобной высоты.

Нас пригласили в боковую комнатку рядом с прихожей.

Здесь была спальня, кухня и место развлечения охраны.

Стояли пара кроватей, стол; и окно с ажурной, советской занавесочкой уходило в дробно застроенный простор.

Возле окна, мечтательно уткнувшись в угол, трехного растопырился небольшой телескоп.

В окно зеленой кольцевой проволочкой виднелся зоопарк. Мелкие, словно мушки в паутине, животные в клетках.

– Жираф и росомаха, – сказал внезапно появившийся в дверях охранник.

В полосатых трениках, плотном защитном пиджаке, вроде кителя, и в тапочках на зеленые носочки сорок пятого размера.

– По утрам видно, как их кормят. Во, – и он, вытянув шею, оторвал ото рта гамбургер, указав внешней стороной запястья куда-то вниз.

Мы не успели ничего увидать, потому что появился еще один – строгий и без еды – охранник, который повел нас к Вите.

Итак, перегруппированная троица – художники плюс «мадам Лалик» – поплыли вслед охране через узкий коридор по волнам неизменного паркета, который вторил звездчатому равнобедренному рисунку, венчавшему этот уголок московской вселенной.

Гостиная комната, где принимал Витя, – Виктор Перфильев, олигарх «третьей гильдии», держатель всероссийской сети фаст-фуда, – на удивление, была отделана очень стильно.

Низ – в тонах кардинальско-красного цвета, верх – в рассыпанной по потолку лаврово-зеленой листве деревца, ведшего свои стволы из огромной толсто-глиняной вазы возле окна. Стены побелены нарочито небрежно. Так что под известкой проглянуло бетонно-бесцветное основание. Доми-

нанта – стол, заправленный шикарной багряной скатертью, с рельефной плотной драпировкой возле пола. Вокруг стола – задумчивые стулья, выгнувшие подлокотники, резные спинки и копытца оснований ножек в жеманном, похожем на растительное, витье.

К дальней стене прижат вплотную большой коричнево-кремовый секретер. С мягкими, словно не вырезанными, а выплавленными по углам узорами, как роспись сливками по торту.

И, наконец, люстра спускалась к столу на ржаво-красном анкере, с витым, как у рыбачьего бура, декоративным змеем по всей длине. Висящая прозрачным, пространным, хрустальным пауком – с локтями, переходящими в пурпурный стеарин свечей.

Что касается дизайна самого олигарха, засевшего за столом в халате медвежьего цвета, то он был предсказуем настолько, насколько из образов всех предшествующих охранников, как из пазлов, можно было сложить нечто целое. Создавалось впечатление, что перед нами прошла галерея цирковых братьев-силачей, составивших гимнастическую фигуру, – это и был их хозяин. Единственное, что отличало от них Витю – круглые, как у Макаренко, очки. И на столе перед ним – свежий The New York Times, конечно, на английском. И серебряный поднос с неистребимыми, похожими на рос-

сыпь белых грибов, гамбургерами.

Витя качнул головой, разрешая нам присесть, посмотрел поверх очков, приподняв колючие брови, топорщившиеся под стать короткой, взъерошенной после утреннего душа шерсти прически.

Лео представил нас хозяину квартиры. Оставшись стоять, когда мы присели, вытащил несколько рулонов, сложенных у меня между телом и правой рукой. Сдернул глухим струнным звуком резинку и развернул одну из картин, скатанную красками вверх.

– Виктор Михайлович, вот новая картина одного нашего художника, – он уважительно слегка наклонился в мою сторону, – Тимофей Аляпкин. Талантливый, самобытный художник, долго пребывал в неизвестности. Что не мешало ему развиваться и идти вперед.

Затем быстро оглядел полотно сверху вниз, словно читая крупный шрифт, и что-то сообразив, приободрился.

– Эта картина написана в стиле кубизма.

Действительно, на холсте был изображен разноцветный ансамбль из большой круглой пирамиды, упавшей на бок, и меньших по размеру шаров. По четырем сторонам стояли кубики.

Следующая фраза заставила всех тревожно задуматься:

– Это – «Дама в яблоках». Дама, – Лео шершаво обвел ногтем вокруг пирамиды, – Яблоки, – потыкал в «яблоки», т.е. в шары. – Кровать – …аз, два, …ри, чтыри, – щелкнул на каждый счет возле квадратов. – Аллюзия и переосмысление «Данаи» Рембрандта. Самое оригинальное, какое я видел.

Я посмотрел на Лео со страхом и восхищением.

Полотно мне попалось под руку случайно. Это был не самый лучший образец моего «кубизма». Раннего, я бы сказал. Выстраданного между ипохондриями. Названного «Шутка Арлекина». Имелась в виду судьба, бросающая игровые кости, под которыми подразумевались человеческие жизни.

«Дама в яблоках» несла в себе, конечно, более жизнеутверждающий подтекст. Особенно, если вспомнить рембрандтовскую обнаженную натуру.

Взгляды повернулись ко мне.

Я кивнул, словно проглотил сухой ком.

– А вот здесь… – На этот раз судьба выбросила сине-серый пейзаж, на котором растиражированно поднимались оранжево-желтые столбы. – Это, видимо, импрессионизм… точно, подмосковные дачи… прудики… грачи улетают… осень…

– Унылая пора, очей очарованье, – подсказал бесстраст-

ным, как будто с издевкой, математический голос олигарха.

– Точно, Виктор Михайлович, так и есть! – Звонко брызнул голос Лео.

– Это Зюзино, возле Раменского… пленеры три года… – попытался я, было, вставить.

– Превосходный образец психологического импрессионизма! Мир теней! – Лео подергал руками, чтобы полотно пошло волнами и затрепетало, – И только узкие, словно остатки солнечного тепла, узкие дверцы в лето…

Дальше пошло плавнее и разговорчивее. Лео хвалил, Витя прихваливал, я кивал. Леша и мадам молчали, по-куриному осматриваясь.

Из темных свернутых кругов воплотилось несколько портретов, натюрмортов, по-одному: пейзаж и автопортрет с курительной трубкой во рту и карандашом «Кох-и-нор» за ухом. Каждая картина, по словам Лео, была высокохудожественным образцом современной московской школы. Каждая оценивалась не меньше пятисот долларов. Витя, не моргая, смотрел то на меня, то на Лео. Кивая и задумываясь.

В конце концов, все картины были расхвалены и проданы.

Для меня – так по баснословной цене. Лео в моих глазах светился под алмазной пылью, мой талант казался несомненным; гамбургеры, предложенные Витей, пахли родны-

ми и добрыми котлетами из детства; сам Витя представлялся добрейшим в мире богачом. Звезда пошатнулась и спустилась ко мне на ладони новенькими скрипящими банкнотами. Их мне передал Лео, когда мы с Лешей уже стояли в холле. Отведя в сторону, он, обняв меня через спину, прошептал:

– Теперь ты с нами в связке. Понял? – сдавил плечо и посмотрел в глаза. И от опьянившего меня счастья они показались сиющими, с наложенными друг на друга радужками: лилово-синими, в которых тончайшими вольфрамовыми прожилками краснели узоры капилляров.

Я снова молчал кивнул, взял деньги и пошел к Леше.
Лео с дамой остались у Перфильева.

11.

– Ты думаешь, он типа зомби? – рассказывал мне Леша всю дорогу. Сначала, пока мы спускались на лифте, потом – когда шли к машине, и далее весь путь до дома. – Виктор Михайлович очень уважаемый человек. Да, он, может, и не очень понимает современное искусство… Знаешь, кем он был? Он был трехкратным победителем школьной олимпиады по математике. Москвы, да. Гений. Занимался борьбой, дзюдо. В девяностых прошел такую школу жизни, от которой не то что лошади… я не знаю… слоны! слоны дохнут! А он выжил. Поднялся. Организовал фаст-фуд по всей стра-

не. Думаешь, это ненастоящая еда? Так люди же кормятся. И на эти деньги художников еще кормит. Таких, как ты и я. Как Лео… Теперь вот что. Ты – в нашей связке теперь. После татуировщика другой человек. Не все, кто бывал у него, потом лучше рисуют. А у тебя получилось. Я видел. И Лео, и его подруга. А видал, как Лео обалдел от твоей этой картины? С кораблями, там. Мы не знали, чем это все закончится. Тут, друг, такая сложная система. Ты даже не представляешь. – Леша повернулся в водительском кресле, полуобняв спинку, пока мы стояли в пробке. – Тут такая каша заварена, брат. О-о-о-о. Цепь. О-о-о-о-о-о. Цепь. В общем, татуировщик этот, татарин, был алтайским шаманом. Шаманил у себя на родине. Камлание всякое такое. Ну и вот. Было это лет пяток назад. Виктор Михалыч тогда путешествовал по Алтаю. – Алеша вернулся к рулю и потихоньку стал поддавать газу, рассказывая. – Заповедники, красота природы. Воздух такой чистый. И заехал в одно село. И, говорят, шаман. Давай посмотрим, да. Интересно. И нашаманил. Вот чо! Михалыч после этого бросил мебель и начал бургеры продавать. И так поперло ему! Поехал обратно. Забрал шамана в Москву. И друзей к нему водил. И у кого-то получалось, как у Михалыча. Но не у всех было. Шаман говорит: дай мне дерево и инструменты, буду себе работать. Он вообще так – на содержании. Может хоть в собственной квартире жить. Нет, говорит, есть Татарская слобода. Там хочу жить. Там вроде его предки, еще те самые, татаро-монгольские жили.

Получается, они как бы обменялись с Михалычем. Татарин мебель делает. Михалыч – еду.

– Что за мебель?

– Может, и не мебель. Мелочь всякую. Кукол, что ли, деревянных… А потом как-то получилось, и художники пошли. И Лео, и куча других. И я там тоже… Ты теперь рисуй больше. Как время есть – к станку. Мы тебе фору дали. Думаешь, эти твои картины чего-то стоят? Думаешь, мы Витю обманули? Витя тебе дал денег на развитие. Все твои новые картины – теперь его. Все старье засунь подальше под диван. Новые – вот что теперь главное. У тебя, пока глаза новые, тебе нужно рисовать и рисовать. Потом уже не то. – Лешин голос как будто скукожился и покислел. – Вторые и третьи глаза – не то. Нет той прозрачности, сияния.

– Какие вторые и третьи глаза? – в лицо мне ударил жар.

– Какие? – упрямо повторил водитель, заворачивая в переулок, к дому. – А такие, Тимоша. Рано или поздно все глаза снашиваются. Все твои картины отпечатываются у тебя на глазах. Знаешь, что такое палимпсест? Это когда пергамента не хватает, на нем пишут и стирают, пишут поверх и стирают. Пишут-пишут. Сколько ни стирай, многого уже не сотрешь. Так что, Тимоша, одна картина наслаивается на другую. Да. Вот так. – Мы уже стояли возле моего дома. – Так что будут и вторые, и третьи глаза. Хотя это все уже не то. – Проговорил он, настойчиво давая понять, что все, приехали…

12.

Когда Лешин «форд» бесшумно отчалил от тротуарной бровки, я, потирая в кармане друг о друга денежные бумажки тесемчатым шелком, направился к бару «Джентльмен удачи». Он располагался чуть наискосок через дорогу от моего подъезда. Внутри было уютно и сухо пахло мандарином. Посетителей никого не было. Бармен с лицом, очарованным свечением ноутбука, стоял в бархатном полумраке за стойкой, подперев подбородок левой рукой. Купив бутылку дорогого, дремотно-чайного цвета «Хеннеси», присел тут же, за столик, где забывчивая или беспечная рука оставила свежий номер The Art Newspaper Russia. В нем передовица сообщала о Венецианском биеннале; убористые матрицы колонок несли методику аутентификации работ Уорхолла; Абу-Даби объявлялся столицей нового искусства; в мире инсталляций царила гигантомания и пророк ее Аниш Капур, создатель нового «Левиафана». На фотографии присутствовало изображение лилово-чайного цвета – изнутри животообразной конструкции. Такого же дремотного и анабиозного оттенка, как у коньяка. Поднятый на просвет стеклянный фляжистый флакон, сравнил свою тень с мареватым чревом «Левиафана».

«Поглощая коньяк, я приобщаюсь к Левиафану… погружаюсь в него…».

Отложив газету, я обратил внимание на экран, где шел какой-то документальный фильм.

Бармен, заметив это, сделал звук громче.

Насколько мне удалось понять – после двух коньячных рюмок – речь шла об очередном сенсационном научном открытии.

О том, что где-то на берегу Волги обнаружено естественное захоронение огромного числа динозавров, погибших в момент природной катастрофы. Что кости постоянно вымываются из высокого берега. Что там сохраняется невероятно сильная негативная энергия, выплеснувшаяся в момент гибели тысячи существ. О чем сумбурно, не умея связать пары слов, сообщал в интервью некий «научный сотрудник», потея и млея от страха и, одновременно, от радости.

В сущности, ничего необычного в этой истории не было. Удивительно другое. То, что псевдонаучная информация, входя в сознание зрителей как подлинная, смешивала реальность, «данную нам в ощущениях», с реальностью, полностью вымышленной. И размывалась не только граница между мифом и действительностью, но и действительность, реально существующая, полностью искажалась в сознании бедных зрителей. Любая лже-информация, таким образом, была не отдельным квантом, инородным телом, плавающим в толще подлинного знания, а, входя в сознание под видом прав-

дивости, искажало саму природу правдивости и восприятие самой действительности. Как если бы в газетах постоянно писали о том, что земля до сих пор стоит на трех китах, то этот факт из газетного, в конце концов, превратился бы в головах в факт действительности.

По сравнению с тысячами таких историй моя – с татуировщиком – была верхом правдивости. Тем более, что, кроме меня, ее жертвами оказалась куча народу.

Так размышляя, я вышел из бара и вернулся домой, в свою квартиру-мезонин с косым-косым потолком, сужающим-сужающим-сужающим пространство дальнего угла в ноль.

13.

Я проснулся поздней ночью.

По стене, противоположной окну, смещался искромсанный сфинкс света.

Ноги и лежащий живот подъедали лезвия листвы, голова его тлела в двойном дрожании веток.

Я протянул руку и включил настольную лампу.

Недавний сон отпрыгнул и спрятался в лапах темноты, подбиравшей под себя весь дальний угол комнаты. Там нагромождались ряды картин, местами подсвеченные горизон-

тальными строками, в которых угадывались детали одежды, лица, здания, резьбы картинной рамы.

В темноте этот угол комнаты казался естественной перспективой, в которой карточным порядком стояли многоэтажки. И я, как когда-то в детстве, снова почувствовал себя огромным, превосходящим дома, чтобы можно было взять ту единственную звезду. Но это был обман. Я жил в мансарде, половину которой занимали никому не нужные картины, в другой половине ютился я, с кроватью и столом. Между ними под трапецивидным углом к небу окно разбавляло темноту. Взглянув на просвет, я вспомнил недавний сон.

Мне снился документальны фильм об одном высокогорном алтайском поселении.

Оно было почти забыто совеременной цивилизацией.

Недавняя научная экспедиция открыла его для мира заново.

Исследовала людей и их легенды.

Передо мной всплыло лицо старой женщины. Она рассказывала одно древнее поверье своего народа. Голос переводчицы, строгий и молодой, дублировал неспешную речь старухи.

В давние времена жил в селении шаман.

Был он властолюбив и хотел управлять людьми.

За это его изгнали в холодные лесистые сопки.

Но он не угомонился и приходил к людям по ночам, чтобы владеть если не их телами, то душами.

Утром, после сна, если на теле человека появлялись полосы, значит, к нему приходил шаман.

«Татуировщик сновидений».

«Конечно, – говорил диктор за кадром, – все древние народы обладают множеством этиологических мифов, в которых объясняются доступным для их уровня понимания мира самые различные аспекты жизни. Но данный миф, кажется, уникален и абсолютно эндемичен в своем обращении к такой, казалось бы, совершенно несущественной и мизерной детали – полосы и пятна, оставляемые на теле человека постелью во время сна».

Я вспомнил, что спал крепко и почти без движений.

Расстегнув рубашку и завернув ее на плечах, рассмотрел, как по всему нагретому, еще сонному телу извилисто, мягко и прекрасно струились красноватые узоры – как песочные вымоины на мелком дне реки.

14.

Всю оставшуюся ночь, при свете лампы, я рисовал татуировщика. У него было лицо старой женщины и каменное тело в виде четырехгранного столба, на двух боковых сторо-

нах которого примитивной неумелой гравировкой выведены линии рук.

Вокруг столба на длинных подсвеченных нитях, уходящих в темноту, висели деревянные куклы.

Когда утро начало опустошать белым, бетонным цветом бархат ночного счастья, я почувствовал усталость в глазах и, помаргивая и потирая тонкую кожицу над глазными яблоками, подошел к окну. Солнца еще не было видно. Пустая стеклянная прозрачность законсервировала видимые из окна крыши и верхние этажи. Словно и этот городской конструктор, и мое ощущения пребывания в мире, – все это поместилось в новогодней игрушке из стеклянного шара. Шар светился изнутри, а снаружи него зиждилась ночь. И эта ночь смотрела и смотрела на шар – как большой вселенский наблюдатель.

В глазах колкой сухостью першила усталость. Тонкая и резкая, красноватая. Я потер глаза еще и еще. И различил вдали протяженные, словно поставленные боком лезвия, явственные багряные ниточки. Они колебались в воздухе, пружинясь, подрагивая, подчиняясь не логике движений внешнего мира, а какой-то своей – живой, самостоятельной.

При моргании эти ниточки как будто сворачивались, а потом, распрямляясь, казались веселыми, подшучивающими надо мной ходулями. Того, кого они держали, не был видно.

Он, казалось, всегда был наверху. Не сверху неба, а сверху меня, сверху глаз.

Ходули вздрагивали, боченились и, наоборот, выгибались. И тут я различил, как в пространстве возникали все новые и новые, углубляясь вдаль, высокие капилляры, подвешенные к небу. Они располагались в различных узорах, организованных в определенном порядке. Вот узор лица, над которым розой распускались волосы. Вот красной тушью очерчены приземистые бочонки корабельных фигур. И я начал складывать эти фигуры в нечто осмысленное и определенное – сначала наблюдая, а затем уже припоминая, что это все раньше я уже видел. Все это: все линии, изогнутые улитками узоры – все уже было раньше в моих картинах. Все это – отражение моих снов на глазах.

Я подошел к телефону и позвонил Лео. Было еще очень рано. Часов пять. Никто не ответил. Я позвонил Леше. Гудки потянулись вдаль и грубо оборвались тишиной.

– Да.

– Это я, Аляпкин.

– Да. Я слушаю.

– Тут эти… в глазах… линии… наверно, вторые глаза.

В трубке послышалось терпеливое сопение. И голос, после кашля, терпеливо и застенчиво:

– Это то, о чем я говорил. Это только начало. Потом их будет больше. Ничего страшного. Все с этим сталкиваются.

Потом обновим глаза. Все будет хорошо.

– Как мы обновим глаза?

– Снова пойдем туда.

– А потом снова и снова?

Тишина неуклюже уплощилась, и за ней, как за картоном, Лешин голос кому-то что-то сказал.

Я положил трубку и лег спать.

15.

С этого момента моя история начинает подходить к концу.

Первые признаки загромождения глаз наслоениями снов проявились очень быстро.

Сны были все так же ярки и объемны. Но после пробуждения их чистота сразу как будто промокалась всеми предыдущими снами. Границы образов – молодые гибкие и старые ломкие ветви – сплетались между собой; краски почернели, словно кипы наслаиваемых друг на друга разноцветных ка'лек. Отдельно различимых фигур уже не было. Только где-то с самого бока зрения торчала какая-нибудь упругая скоба черты.

Видел я так же нормально, как и раньше. Но как только начинал сосредотачиваться на рисунке, проволочный и черный клубок утомлял и портил зрение.

Сначала я старался зарисовать сновидение по памяти. Но цвета улетучивались почти моментально. Потом, стараясь различить отдельные детали, осторожным, трудоемким сосредоточением вытаскивал какую-нибудь одну из них, словно извлекал из-под обломков едва уцелевшую часть вещи.

Поступать так, как это делали остальные, я не стал. «Обновление глаз» стирало путаницу образов, но за ним снова приходило нагромождение. И так – без конца, до тех пор, пока не наступит безумие или темнота.

Последнее, что я нарисовал, была картина, состоящая из абстракнтых разноцветных линий, не воплощавших ни идею, ни подобие гармонии.

Единственное, что такая картина могла бы олицетворять – это хаос.

Хаос, рожденный из прежней гармонии.

16.

Было холодно и темно.

Октябрьски день, сложивший себя в единое тело с вечерними сумерками, заполнялся хлестом тяжелого дождя.

Я лежал на кровати, глядя в дальний угол комнаты, в чьей

темноте проступали острые плечи картин. Пытаясь согреться, выпил последний глоток коньяка и укрылся несколькими одеялами и занавесками с окна. Вечер тускло светился. Было так холодно, что, казалось, окно распахнуто. Но из глубины одеял, словно из набросанного вороха листвы, приходило тепло. Я засыпал и мне снилось, что я маленькое, тонкое насекомое, лежащее в стороне от грохочущего ливня.

Маленькое существо не сопротивлялось, не дрожало. Его не было заметно, словно оно само стало частью листвы. Но внутри него возможен был целый цветной мир, отраженный миллионами нейронов.

И, возможно, ему снился тихий сон, рассказываемый дождем. Дождь сидел на подоконнике, уперев одну ногу в грудь и свесив другую на наружнюю стену дома. Но его голос слышался не здесь, в комнате, а там – за коробкой двора, за широким брандмауэром, возвышавшимся нелепой короной; за сотнями чердачных будок и закопчено-ржавых башенок труб; за шепеляво пенившейся мостовой под водосточным водопадом; за набережной, косившей чугун ограды; за рекой, покрытой короткоиглистой шерстью ливня; за горбами гор московского старого фонда; за долами покинутых шоссе; за лесами и паутинами уже неразличимо каких антенн и проводов:

Под окном рассказывает дождь.
Пришлый дождь чужой пыльцой копытит
На обочине озябших листьев дрожь,
Слепит сад и сам во сне не видит.

Дождь в потухшем зреньи муравья
Отражается и наливается почайно.
Половодье перелижет за края
Отпечатанных следов, как букв случайных.

Лист, медовой краской позлачен,
Свернутый в ладью ладонью тлена,
Тронет и подхватит сон,
То плывя, то нет – попеременно.

Теплый дождь в сентябрьских краях,
Пришлый из чужого. В каплях-жменях,
В янтаре как, убаюкан прах,
Мелочи, детали – без сложенья.

Дождь, наполненный музейной чепухой,
Переносчик памяти мельчайшей:
Горный сор, пушинка, нитяной
Паутинки ус из тихой чащи,

Усик тли, члененье паучка,
Сыпь с обветренной ракушки, заусенец
Ржавчины, и бахрома клочка,
Зачарованный узор погибших телец;

А потом – почти ничто, померкший бред,
Атомарный сон полураспада:
Полутень, движенье, цвет – как след
На изнанке дремлющего взгляда.

Лист, всплывая, тащится в ручей,
На себе неся хитин и влагу.
Спит под цокот капель муравей.
Дождь вольется в сон, слова – в бумагу.

[2]Лабиринт двойников. Повесть

1. Дядя Вова

Я – клоун. Это правда.

С самого детства у меня только и получалось, что ерничать, корчить рожицы и кривляться. Родители относились к моим чудачествам добродушно, снисходительно предполагая, что эта детская непоседливость – отражение острого ума – со временем пройдет. Так же, как подобный тип чистого, не замутненного занудством восприятия проходит у большинства людей.

Особенностью моего таланта, однако же, было замечать самые резкие и далеко не лучшие стороны характеров и положения дел, представляя их напоказ выпукло и свежо.

Как-то, лет в шесть, на домашнем новогоднем вечере я облачился в подушки и перья, помпезно проковыляв курицей в центр зала, кудахча, якобы ища потерянное яйцо, и подергивая временами головой. Собравшаяся родня покатывалась со смеху, а тетя Соня, одинокая худая женщина с круглыми быстрыми глазами, длинной морщинистой шеей и широким низким тазом, почему-то не выдержала общего веселья и вышла из комнаты.

---

[2] Повесть публиковалась в журнале «Новая Юность»

В середине вечера папа отвел меня в сторону и сказал, что мой поступок – очень-очень плохой и что я почему-то должен извиниться перед тетей Соней. Но ведь любой говорил, когда ее не было поблизости, про «эту стареющую одинокую курицу, которая даже яйца не снесет». Почему тогда я не мог прокудахтать то, что все и так говорили друг другу вслух?!

Именно тогда впервые было испытано мной горячее и слезное сопротивление несправедливости того, что называется «двойными стандартами». И как можно было извиняться за то, от чего дядя Семен смеялся даже под столом?

Моя склонность к подражанию находила отклик в голосе и умении удачно копировать интонации. Откуда что бралось, неизвестно, потому что никто из всей родни никогда не пытался произнести ни единого слова не своим голосом. Все были серьезны и шутить не умели.

Разве только дядя Вова.

Дядя Вова – самый веселый человек из родни, по той причине, что «знал, когда надо вовремя выпить».

Говорят, меня назвали в честь него. Когда я родился, он был молодым и работал в армии. Он не пил, был серьезным и очень красивым, с военными усами. Теперь он не был серьезным, сбрил усы, и от него пахло вином.

Именно дядя Вова, в одном из своих своевременных и веселых состояний, однажды сформулировал запавшее мне в душу высказывание, которое и стало моим невольным амплуа: «Ты, Вовчик, – клоун, потому что рожа у тебя смеш-

ная и повадки, как у циркового медведя». Неизвестно, какие повадки были у этого медведя, но все мое детское существо в тот момент просияло, откликнувшись на зов, который вытрезвонил мою суть и назвал мое сокровенное имя.

В школе я окончательно понял, что жизнь скучна, потому что ей руководят взрослые, и решил никогда не взрослеть.

Единственное, что меня тогда привлекало и что удавалось с удовольствием и радостью – участие в театральном кружке, где я процветал и чувствовал себя некоронованным королем шуток и фирменных словечек. Никто не мог так быстро, ловко и остро вставить словцо в импровизированный диалог во время репетиций. Именно эти кружковские вечера остались самым ярким и приятнейшим воспоминанием из всего школьного времени. Я постоянно что-нибудь сочинял на ходу и острил таким образом, что наш режиссер, сидя в пустом зале на первом ряду в центре, смеялся так, что падал на колени перед сценой и упирался лбом в пол. Более выразительной и искренней зрительской благодарности мне сложно представить даже теперь, состоявшемуся клоуну, в чьем Обязательном Трудовом Билете в графе «профессия» стоит безликое и невыразительное – «цирковой артист».

Вслед за ним, Степаном Измайловичем, профессиональным режиссером, работавшим когда-то в настоящих, а не школьных театрах, меня и стали называть «дядя Вова».

Дядю Вову ожидали, однако, незавидные карьерные пер-

спективы.

Роста он был небольшого, телосложение имел худое и обыкновенное, лицо – невыразительное, скучное, взгляд – сонный и усталый. Веселый характер и умение надевать на глаза невидимые сатирические очки, преображавшие дядю Вову, – единственное, что держало его на плаву, когда корабли профессиональных надежд один за другим сбрасывали его за борт.

– Так, дядя Вова, – сказал мне Степан Измайлович, когда я не без его помощи поступил в театральный, – а теперь ты давай сам. Талант у тебя есть, ум и энергия – тоже. А вот тебе воля к достижению успеха! – И он, плюнув себе на ладонь, крепко сжал мою.

2. Августейшая хитрость

Время, в которое мне пришлось стать клоуном, по историческим канонам обычно называют эпохой подъема национального характера. В ходу монументальные герои, простодушные лозунги, тревожные императивы и внимательно-протекторатское отношение ко всему историческому и послабление к псевдоисторическому.

Ясно, что в такой обстановке уплотнения в центре, спрессовывания в гранит, все мягкое, сомневающееся, рефлексирующее на живом нерве, ректифицируется на периферию.

«У вас нет перспектив в вашем амплуа, а у нас – вакансий

для него». Примерно так формулировалось мое профессиональное положение большинством работодателей.

За моей спиной уже был театральный институт с массой мелких, но выразительных ролей, потом три года в антрепризах. Постановки в основном сатирические, часто с сильным абсурдистским уклоном.

Политическая жизнь в стране менялась очень странным образом.

В ней было не до юмора. То есть не то чтобы все было так печально.

Наоборот, шутки ежедневно звучали с телеэкранов, в театрах, на концертах, по радио, в газетах, даже из уст политических руководителей.

Нельзя было шутить в основном на некоторые темы, и главным образом не поощрялся смех сатирический.

Юмор не должен был подниматься очень высоко, обычно не выше пояса, а до самых верхов юмор вообще не должен был доходить.

Дядя Вова, собравший к тому времени небольшую театральную труппу под одноименным названием, выступал на правах частного бизнеса.

Материал использовался сугубо внутренний. Мы ездили и выступали везде, где только могли найти аудиторию, готовую интересоваться нашей программой и платить за нее.

Опять же – интернет. Но там – цензура: за мониторами сидят благонадежные пузато-бородатые дяди и все слушают

весьма внимательно и не смеются, даже если шутка очень удачная.

После очередных гастролей нам позвонил менеджер одной телекомпании и предложил сделать первую официальную видеозапись, при условии, что мы смягчим темы и остроты материала:

«Вы отличные актеры, я видел ваши выступления несколько раз, – сказал он весело и продолжил озабоченно: – Но ваш материал – не смешной. Он серьезный. Вы понимаете? Может, вы закажете другие номера или я сам подыщу?»

Мы договорились, что переработаем свои под современные политические предпочтения.

– Итак, – сказал Юра на очередной репетиции, – будем писать новый материал.

С нами сидел Август – театральный кот, который меланхолично примазался к нашей труппе на одной из гастролей.

– Так, давай, дядя Вова, записывать, что нам можно, а чего нельзя.

Я вздохнул и, поглаживая Августа, раскрыл плотно сброшюрированную книжку карманного формата.

Юра Бережной был одновременно продюсером, бухгалтером, водителем и руководителем отдела кадров нашей труппы. Помимо обладания внешностью нью-йоркского танцора мюзиклов и практически гениальными организаторскими способностями, ему удавалось играть трагические, а иногда

и женские роли. Но об этом – значительно позже.

Он расчертил альбомный лист пополам, надписав над половинками: «Нельзя» и «Дозволено».

Добродушно посмотрел на Августа, подмигнув одним глазом, и сердито – на меня, потянув подбородок вверх – мол, давай, читай.

В книге, изданной под редакцией игумена Августа Люберецкого, выдававшейся бесплатно представителю всякой творческой профессии, оглашались очень важные вещи, которые в нашем государстве должен был знать каждый, решивший ступить на стезю трудового совершеннолетия и творческой самостоятельности.

Я встал, закинув голову вверх и высоко подняв книгу, будто закрывался от дождя, и зачитал нараспев по-пономарски:

– Запрещается, рабу божьему такому-то, при написании стихов, куплетов, сонетов, статей, эссеев, очерков, рассказов, повестей, новелл, романов и прочего художественного содержания и литературного по форме материала высмеивать и выставлять непотребно царя нашего земного батюшку и подручных его, коим имя: легион.

Вся цитата, конечно, была выдумкой. Ни о каком легионе речи не шло. Но смысл брошюры от этого не менялся.

– Ты понял? – спросил Юра, уставившись на кота хитрыми, зеленоватыми в крапинку глазами, отчего Август с едва скрываемой, кошачьей ухмылкой только отвернулся. – Этого всего ни нам, ни тебе, друг мой, делать не дозволяется.

А теперь прочти-ка, Вовчик, что нам, горемыкам театральным, – на этом изгибе интонации Юра добавил в голос сладости и улыбки, – делать позволено, и позволено всеавгустейше и даже поощряется.

И зыркнул на меня суровым сторожевым кобелем.

– Дозволяется, – звонко объявил я, – похвалять добрыми и всеблагими словами, коими выгодно и славно зовутся наши руководители испокон веков, всех начальствующих и руководящих лиц, а паче всего, не жалея таланта и живота своего – нашего единоначальствующего Верхооо-вноо-гоо. Да пребудет…

– Эээ, – пропел Юра, вставая со стула и подходя к столу, – отставить.

Как следовало из книжицы, весь наш методологический подход к написанию программ теперь годился только в качестве иллюстрации истории театра, так как был полностью неактуален и строился на точно противоположных посылках.

– Слушай, Юрчик, ну так не пойдет. Эти требования нас буквально кастрируют.

– Я скажу более того, Вовчик: эти требования к тому же лишают нас еще и языка и голоса. Потому как если кастраты еще могут петь, то мы уже – только мычать. Ну, так ведь?

Я развел руками.

– Тогда я продолжу, – сказал Юра, театрально взвив указательный палец и повернувшись на пятках, – мы не позво-

лим себя кастрировать, мы сменим, так сказать, пол.

– Да лан, Юр, – тут я уже серьезно посмотрел на своего продюсера, бухгалтера, менеджера и все остальное, что о нем было сказано выше.

– Да-да. Это будет работа непростая, мучительная, но, с другой стороны, творческая.

Шумно вздохнув, я шлепнул рукой по дивану, отчего Август посмотрел на меня неодобрительно.

– Шутки шутками, но что делать-то будем?

– Вов, а мы будем не рассказывать сатиру или пародию, мы будем ее показывать. Молча. Как наш всеавгустейший Август. – И он нежно погладил кота меж ушей.

3. Переезд и катастрофа

Сочинить пантомиму, причем пантомиму остросюжетного характера, в которой надо было закамуфлировать под сюрреалистически дураковатой поверхностью клоунады суровое сатирическое содержание – это, братцы мои, оказалось непростой задачей. Учитывая, что такого до сих пор мы еще не делали.

Пантомима как условное искусство лишало нашего героя своего определенного пола – он словно становился бесполой, безликой, не имеющей своей воли перчаточной куклой. Тогда как сам актер скрывался за декорациями пластики и грима, голос его тем паче уходил в пассив, приближенный к по-

чти нулевому выражению.

На сцене появлялись аморфные фигуры, изредка подававшие невнятные звуковые сигналы. Это были, по сути, ожившие кляксы, под сурдинку абстрактной абсурдности выражавшие с помощью языка тела то, что тело языка уже не могло артикулировать в слове.

Когда после месяца репетиций у нас была готова первоначальная программа, я по электронке отослал ее текст телевизионному продюсеру. В нем была всего одна реплика, состоявшая из двух слов – «Чур меня!» Описание пантомимы было совершенно безобидным.

Продюсер перезвонил и недоуменно и насмешливо спросил:

– Вы сменили амплуа?

– Не только. Мы сменили и пол, и потолок, – ответствовал я.

– Вы переехали? – уточняюще настаивал недоверчивый продюсер.

– Да, в другой жанр.

Надо сказать, программа удалась.

Представьте себе условное пространство квартиры, в котором герой сначала безуспешно и мучительно пытается заснуть, а потом, измучившись, все-таки засыпает. И вот тутто, в еще более условном пространстве сна, начинает разворачиваться главное действие. Герой из маленького чаплин-

ского человечка превращается в кровавого диктатора, страдающего раздвоением личности. Ситуация усложняется тем, что в государстве, где правит этот тиран и злодей, существует сначала один его двойник, потом – двое, затем – еще несколько, и, наконец, все общество превращается в единую сплошную массу двойников диктатора. Целая толпа, паводок диктаторов, диктаторчиков и совсем уж микроскопических домашних диктатошек, мельче и мельче, окружает, заволакивает его. Что ж поделать, если в царствование тиранов и злодеев именно так и бывает.

И вот уже невмочь как много их расплодилось, так что распознать, кто из них первоначальный и кто производный, невозможно. Картина массового уничтожения диктатором своих двойников завершается вполне логично, хотя и парадоксально. Решив в припадке безумия, что сам он является двойником собственной личности, злодей избавляется от призрачного доппельгангера, и мир – абсурдным и чудесным образом – освобождается от тирании.

Герой просыпается и шепчет: «Чур меня!»

Конечно, мы постарались утопить сюжет в простынях инфантилизма, нахлобучив поверх него забавной, непонятной, пушистой сказочности и подсветив действо волшебством костюмов, хитрых приспособлений, трюков и гимнастических кривляний. Так что зритель удовлетворенно съедал этот пестрый, бархатного крема пирог, в большинстве своем даже не почувствовав его ядовитой основы. Стоит, на-

пример, отметить, что эпизод расправы диктатора над своими двойниками мы изобразили в виде уморительной сцены, в которой злодей, проходя мимо своих жертв, стоящих над пропастью, раздает им пинки, подзатыльники, пихает их задом и таким образом сталкивает их всех с обрыва.

На одном представлении спектакль был снят в виде фильма. Наша труппа под прежней вывеской «Дядя Вова», состоявшая тогда из семи актеров, упаковала чемоданы с реквизитом и отправилась колесить, покорять города и веси, зарабатывая на новой программе.

Не прошло и месяца, когда случилось неизбежное.

В городке, где вторую неделю пробуксовывала наша гастроль, в гостинице с пыльными, пропитавшимися потом обоями, – в одном из тех тоскливых провинциальных «постоялых дворов» новейшего времени, в которых число фантомных, прежде побывавших там душ, давно преодолело число обитателей самого городка, – там, в один из зимних мглистых дней к нам в номер пришли неожиданные посетители.

Юра уже с утра где-то околачивался. По своему похмельному обыкновению. Нас, актеров, за вычетом его, пригласили, на основании какого-то постановления, в гости к некоему полковнику Смирнову в ближайшее отделение.

– Вы – дядя Вова? – спросил Смирнов утвердительно, то есть без малейших сомнений и вопросительности. Лицо

у него было строгим, по-служебному оттянуто вниз, как у дога или коня.

– Точно так. Но только и не совсем так. – Я пустился в объяснения: – Наша труппа называется «Дядя Боба». Слово «дядя» написано по-русски, а «Вова» – по-английски. Графически эту разницу трудно уловить, так как написание «Дядя Boba» и «Дядя Вова» очень похожи. Поэтому, фактически, и, юридически, поскольку мы являемся, по закону о «Регистрации артистических, театральных, творческих и самодеятельно-самостоятельных объединений, групп и…» – Глубокий вздох, в надежде, что полковнику продолжение фразы не понадобится, но нет, но нет, надо, надо говорить до конца, объясняя ясное и так, и самостоятельно затягивая юридическую петлю у себя на… – …в общем, по этому закону, наше название не «Дядя Вова», а…

– Это неважно, – снизошел, смилостивился полковник, произнося, как приговор, фразу переливчатой интонацией благородно-глубокого голоса, поставленного, скорее всего, на заре своей служебной карьеры в процессе подготовок ко всякого рода публичным докладам для начальства.

И дальше, рисуясь бархатной игрой голосовых связок, поведал собравшимся перед ним актерам, первый раз в жизни представшим перед подобным спектаклем в качестве зрителей и обвиняемых одновременно, о заведении цензурного дела на наш творческий подряд. В дело пошли тексты наших ранних выступлений. Было бы приятно вспомнить некото-

рые шутки из них, но Смирнов не шутил. В дело пошли статьи из некоторых, особенных, театральных вестников, критиковавших нас еще два года назад за формализм и нарциссизм в искусстве. В дело пошли – самое главное – видеоматериалы, один из которых вкратце был продемонстрирован нам, бедным-бедным, поникшим актерам.

Смирнов показал запись, на которой непрофессионально, долго не могли поймать в фокус то, что очнувшийся объектив затем вывел как сценическую площадку. На ней в пышно расфуфыренных костюмах, с по-дурацки размалеванными лицами-кренделями, вальсируя в лягушачьих позах, помещалось несколько паяцев. Что-то щелкнуло, изображение одного лица, резко, квадратно подрагивая, приблизилось. Оно было единственным, не покрытым акварельно-красочным марафетом. Обведенное белой краской по линии скул так, что, представленное горизонтально, словно возвышалось бы из воды.

Это было мое лицо, лицо дяди Вовы.

Полковник остановил картинку. Окинул нас суровым конским взором и утвердительно сказал:

– Всем видно? – А после паузы поднял и перевел свой эпический указательный палец в настенный портрет. На нем застыло, как две капли воды похожее на только что увиденного паяца, изображение Верховного.

4. Кое-что о современной Сансаре

Мое детское сатирически-насмешливое мировидение сочеталось с глубокой мифологизацией действительности. Несомненно, бытовым – кухонным, спальным, дворовым – космосом управляли соразмерные своему предмету силы. И эти силы – словно инструменты в чьих-то руках.

Мои взрослые представления, конечно, отличались большей сложностью, отвлеченностью и причинно-приземленным детерминизмом. Но, уйдя из сознательного, мифологизм оставался на дне, в «котельной души», производя оттуда свои движущие вызовы.

Например, узнавая из новостей о появлении нового закона или введении в эксплуатацию долгожданного завода, оттуда, снизу души, ко мне всплывали до-сознательные представления следующего рода. Что как будто некоторые добрые, упорядочивающие силы сели, придумали, записали, опубликовали закон. И вот передали его в руки другим силам, которые будут его блюсти. Ну а как иначе мог этот закон существовать? Ведь не может он быть фикцией, просто буквами на бумаге? Как и где он существует в реальности? Не только ведь в головах, его придумавших. И в головах людей, перед ушами которых его огласили. Или перед глазами, прочитавших его. Где вот реально существует закон? Онтологически то есть? То-то и оно, что в виде определенной сущности, которую наблюдают и оберегают другие сущности. Вроде министров, замминистров, зам-

зам-замминистров, секретарей, разных сонмов разного рода и уровня госслужащих, невидимых мириад юристов, которые обитают где-то там в своих нужных, правильно установленных сферах. И они невидимы, и поэтому почти волшебны, и обладают полнотой своих маленьких властей. Но пусть так они и остаются – там, за закрытыми, стеклянными, цветными витражами. Не надо знать, кто эти люди. Пропадет волшебство. Закон потеряет свое онтологическое обоснование. Потому что не может же он существовать как чистая абстракция только в сознании. Тогда вместо сказки про Космос и упорядоченность наступит неуправляемая реальность.

Приходя к такому, может быть, странному и примитивному пониманию, я обнаруживал его существование и у других людей. Что-де где-то там: наверху, или сбоку, или снизу, в другой келье бытия, – они-то, те, другие, знают, что и как делать. Они умеют.

И вот когда вы чувствуете себя клоуном, шутом, балагуром из балагана жизни, вы не придаете своей роли масштабного значения в этой испещренной вещами, событиями и ежедневными поступками круговерти, которую древние индийцы назвали «колесом сансары». Каждый день – своеобразное возрождение в ней. И пока ты не осознал, что пора из нее выйти, ты не выйдешь. А выйти из нее очень трудно, почти невозможно. И тут есть два пути: личное пробуждение или вмешательство богов.

В мою жизнь вмешались боги.

Причем самые главные.

В сущности, почему бы и не верить в такую ментальную сказку. Индуистский пантеон вращается вокруг богов, полубогов, демонов и… У нас же все должно получить предварительное «псевдо». Псевдобоги, псевдодемоны. Псевдознающие. Вращающиеся в своих намертво-свинцово запечатанных каютах внутри общего многоободного колеса сансары, чьи рамки круглыми свинченными, часовыми пружинами туго пучатся во все стороны от единого центра. А в нем – Верховный.

Итак, в последующие несколько дней в моей жизни произошло несколько радикальных перемен. Полковник Смирнов после нашего разговора решительно изменил течение моей жизни. Он поворотил ее в новое русло резко, без раздумий. Поместил меня в жесткий кофр своей власти и повез в таком укомплектованном виде в самый центр сансары, где псевдобоги вращают гигантское колесо государственной жизни, пребывая в состоянии некоторой счастливой иллюзии избегания цикла и цепи перерождений.

Во время вынужденного путешествия разное вертелось в моей голове. Сансара… впрочем, да, условно будем называть место, страну описываемых событий именно так – Священная СанСаРа. Сансара соединяла в себе политическую и экономическую устойчивость, завидное постоянство и повторяемость событий. Государственное управление

представляло собой сращение светской и церковной властей. Последняя была очень близка к концентрированному пониманию «государственности» и зачастую целиком осуществляла общегосударственную деятельность в своем индивидуальном почине.

Особые место и роль в Священной СанСаРе отводилась новому псевдоклассу чиновников-священников. Чиновнические деяния выполнялись ими в виде службы в сфере госбезопасности, а священничество – как своеобразное духовное взаимодействие между Церковью и людьми. Ничего новаторского, впрочем, в их деятельности не было. Но наконец-то ведший свою давнюю историю институт церковной исповеди получил вполне ясный, явный и табельно-закрепленный статус – священник превратился в светский чин на одной из ступенек «тайной полиции».

Это было первым важным моментом нашей жизни.

Вторым было то, насколько неожиданно научное открытие может вторгаться в государственный быт.

Я тогда учился в начальной школе. В одном из новомодных инновационных центров разработали технологию преодоления силы тяготения. Гравитация была взорвана и перевернута прибором, поставившим «на попа» привычный природный уклад. Прибор назывался «антигравитон». Казалось, перестанет существовать привычная авиация, люди начнут осваивать небо, строить небесные города и заводы. Радужные перспективы! На деле, сначала попавшая в крупнейшую

рекламно-патриотическую кампанию, новая технология через два-три года постепенно стала пропадать из новостей. Сводясь лишь к практичному средству «менее энергоемкой перевозки грузов». По воздуху в сторону Урала проплывало несметное множество островов – темными, страшными баржами, накрывая тенями на несколько часов целый город. Что там везли: плодородные почвы, части заводов, городов? – никому не было известно.

Поползли слухи, что над Сибирью возникают «небесные научные городки». Но потом утвердилось наилогичнейшее мнение – это были наделы государственных департаментов и даже отдельных чиновников, чья золотая вертикаль стремилась к солнцу: чем крупнее бонза, тем выше его «летающий надел» относительно уровня земли.

И ко времени моей учебы в театральном небеса уже были отданы преимущественно в пользование церковной власти, медленно и верно поднимавшейся в государстве над гражданской.

Мне припомнился рассказ Юры, – где-то он был теперь, мой друг, – о произошедшем несколько лет назад, мы тогда только познакомились. Ему, к слову сказать, многообещающему выпускнику архитектурной академии, пришлось побывать как раз на одном из таких небесных островов. На летающем каркасе из легких, крепких металлических сплавов, одетых в почвенный слой, возводился кафедральный собор.

Рассказывая, Юра посматривал сквозь окно в холодное,

застланное пятнистыми тучами питерское небо. Тогда мы безуспешно искали театральную работу в Петербурге. Была ранняя осень. Жили в коммуналке на Льва Толстого. Рядом – метро «Петроградская» и чахлая речка Карповка.

Комната выходила трехоконным эркером на проезжую часть, где, шелестя остатками дождя, проносились машины, разбрызгивая пустынную безжизненную воду.

Юра посмотрел в небо и, уколов селедку вилкой в бок, утопил ее в рот.

– Стройка была гигантской… Тонны арматуры, бетона, железа, стекла и пластика. Тонны… Четыреста человек… Промышленные краны… День и ночь. Ночью – прожектора… – выдавил с натугой Юра и вопросительно кивнул на ртутный изгиб бутылки. Налил обоим, наклонился, выпил, занюхнул воздухом, подняв нос.

– Оттуда, с высоты, Москва – как муравейник. Я много раз ходил на краешек, смотрел из нивелира. Заглядывал в дома. Лучше места для слежки не придумаешь. Сижу высоко, вижу далеко. – Взяв бутылку за донышко, сделав пальцами подобие цветочной чашечки с лепестками, поднял ее и посмотрел сквозь стекло и жидкость в небо. – Все видно. Как под микроскопом. Никуда не денешься.

Эта Юрина мысль, что сверху видно «далеко и глубоко», потом часто припоминалась. И сейчас я снова вернулся к ней. Ведь если это все правда, насчет наблюдения и слежки, то подумать и взвесить «насчет моей жизни» могли уже

давненько. И подумать, и взвесить, и сделать выводы. И принять меры. Вероятно, что эти меры со мной сейчас как раз и происходят.

5. Ангельская пыль в глаза

Итак, была зима. Из провинциальной глубинки, куда занесла меня театральная деятельность, теперь я попал в центр Сансары, в один из ее келейных, укромных, потаенных уголков.

Приехали на тихую государственную дачу. Сосны, стоявшие по сторонам дороги, отряхивали с себя мелкий, сухой порох снега, птицы тревожно и настороженно перелетали туда-сюда, словно особисты со скрытыми камерами наблюдения. Глубокие сугробы поднимались над лесной дорогой, как застывшие воды расступившегося Красного моря. Так же нарочито и картинно.

Высокий конвоир, добрый молодец вежливо повел меня в двухэтажный дачный дом.

Внутри было тепло. Неяркий, альковный свет освещал уютные коридоры. Звуки мягко и коротко гасли в напольных коврах. Меня ввели в комнату на верхнем этаже. Затем молодец быстро исчез.

Царивший здесь полумрак был еще более спокойным и плотным. Прошло не больше пары минут, как вдруг из правого дивана с мягким тихим шумом отошла часть. Из про-

ема вышел невысокий человек, широкий, даже т-образный, подвижный, со склонностью к элегантным перемещениям в светских кулуарах, намеком на пружинистую мощь в подковерных схватках и икроножный зуд взбираться по служебным лестницам, толкнул это подобие двери, возвратив ее на исходное место. Показал рукой, что можно присесть. Положил принесенную с собой папку на стол и сам за него уселся, энергично и с аппетитом придвинувшись на стуле.

Сбоку на его коротко стриженую голову падал приглушенный оранжевый свет лампы. Тень от головы вписывалась в круг от света и образовывала на стене овальный, желтый, месяцеподобный нимб.

Человек быстро глянул на меня, словно сверив описание с оригиналом. Затем, небрежно полистав бумаги, закрыл папку, вздохнул и встал.

– Меня зовут Михаил Светлов. Я сотрудник внутренней службы безопасности президента. Теперь я буду вашим проводником в новую жизнь.

Я кивнул, ожидая услышать подобное.

– Сейчас я введу вас в курс дела. Но перед этим вы должны узнать нечто важное.

Выйдя из-за стола, шагнул вдоль дивана, заложив руки за спину.

– Так уж сложилось, что вы попали в наш мир… – На слове «наш» он оттянул интонацию вниз, получилась тембрально-низкая, доверительная яма, в которой сидели некие «на-

ши» и куда начинал скатываться и я. – Вы попали в наш мир случайно и не по своей воле. Теперь, войдя в… так сказать, предбанник нашего мира, вы должны знать, что возврата назад не будет.

Светлов сделал паузу, ожидая реакции. Я чувствовал, что надо молчать и не сопротивляться. Психологически правильным было представить этого человека, вышагивавшего не спеша, – просто одним из зрителей, перед которыми я привык выступать. Наработанные за годы сценического воплощения и паясничанья навыки двигаться под яркий свет софитов, нащупывая настроение, ожидания публики, – все это оказалось для меня хорошей школой психологической тренировки. Так что, подавив улыбку, я только кивнул этому сотруднику службы безопасности.

Светлов, получив кивок, пошел обратно к столу, зарегистрировав, что объект повел себя нестандартно.

– Владимир Иванович, – продолжил Светлов с некоторой укоризной в голосе, толкнув стул, – в ваших интересах быть сговорчивее и сотрудничать с нами. Тем более что мы относимся к вам с уважением. Вы – нужный нам человек.

Наконец, я должен был произнести нечто от меня ожидаемое и приближавшее, пока нескладными, неритмичными шагами к тому, что должно было стать сначала согласием, а потом сотрудничеством с этим новым миром.

– Простите, Михаил, чего вы от меня хотите? – Голос слегка дрожал. Так было, когда я начинал речь со сцены, робко,

нескоро, нащупывая дыхание публики и собственные возможности управлять ею. – Я не знаю, где я оказался; не знаю, зачем меня сюда привезли; по какой милости или провинности. Я ничего не знаю. Я – вещь.

– Ну что вы! – Голос Светлова посветлел и приблизился к той мягкой интонации, которая называется дружеской. Светлов энергично присел напротив, едва заметно подавшись навстречу. – Вы – не вещь, далеко не вещь! Сейчас я все объясню. – Сложил ладони домиком, прикасаясь к ногтям кончиком подбородка, что должно было служить, по его психологическим меркам, признаком дружелюбия, общительности и склонности к приятной, милой беседе. – Мне очень жаль, что вы оставались все то время, которое добирались сюда с нашим… ммм… сопровождением, в неведении. Но я точно знаю, что обхождение с вами было самое приятное и предупредительное.

– Да, это так.

– Это хорошо. Вас кормили, одевали, – он с умилением посмотрел на мою новую одежду (двойка костюма), – не беспокоили ни по какому поводу. Мы хотели привезти вас сюда в спокойном, уравновешенном, благостном, – это слово мне не понравилось, заронив странные подозрения, – благостном настроении. Вы здоровы, сыты, одеты, довольны. Наши сотрудники относились к вам, как добрые ангелы.

В другое время я бы крякнул, откашлялся, толкнул в бок Юру и захрипел вместе с ним от смеха. Но я сделал радост-

ное, симпатичное лицо и с улыбкой кивнул. Неизвестно, где теперь был Юра. Может, его тоже обрабатывает подобный «добрый ангел».

– Послушайте, Владимир… – Он быстро, чуть заметным мановением двинулся назад, потом вперед, поправив складку на штанах. – Давайте на «ты»: мы с вами примерно одного возраста. – Светлов был лет на пять моложе. – Можем разговаривать на вполне по-дружески, без жеманств и прелюдий, так сказать. – Он быстренько засмеялся, делая вид, что смех ему немного неловок, но для такого приятного собеседника можно сделать исключение и, если бы не положение службы, то непременно достал бы из потайного бара, – который, наверняка, схоронен где-нибудь посреди этих диванов, – достал бы заждавшуюся пригубленную бутылочку коньяка, настоянного на грецком орехе, и за милую душу, в добром, широком настроении, вместе со мной…

Я благосклонно согласился:

– Давайте.

– Послушай, Владимир, – начал свою долгожданную миссию сотрудник особого отдела, – ты никогда не задумывался, что твоя жизнь… какая-то неправильная, неполная, ненастоящая? – И он проникновенно заглянул в глаза, стараясь подсмотреть в них слабость, раскаяние и оглядку на свою прошлую грешную жизнь. – Никогда не думал, что все, что ты делаешь, – как бы подготовка к настоящей, другой жизни?

Поворот беседы становился нелогичным. На первый

взгляд. Обычно за этим следует лаконичный вопрос, выпытывающий степень вашего морального падения или, наоборот, высоты духовного уровня: «А верите ли вы в…»

Я молчал, следуя лирическому настроению, взятому моим теперешним шефом, кивая и с сопереживанием соглашаясь со всем, что он скажет.

– Да, – сказал я, – в этом что-то есть. В твоих словах есть истина, Михаил.

Тот смутился, но продолжил.

– В нашей жизни всегда есть моменты, когда мы начинаем задумываться о целях, об истинном назначении наших поступков, которые мы совершаем ежедневно. – Вдохнул носом, трагично сглотнул слюну. – И когда ты понимаешь, что за твоими поступками, как за деревьями, встает большой лес жизненной цели…

Впрочем, с точки зрения театрального жанра, его слова, конечно, форсировали достижение этой самой цели, к которой он стремился относительно меня. Но я сделал вид, что внимаю его высокому сценическому мастерству всей душой: он все-таки рассчитывал произвести впечатление на мои актерские фибры.

– … что этот лес – это бесконечная глубина, готовая принять каждого из нас, кто идет к ней, несмотря ни на какие препятствия. И что, в конце концов, этот лес есть не что иное как сад, сладчайший сад духовных наслаждений и праведности.

Светлов замолчал. Лицо его сияло здоровой спортивной краснощекостью, будто он прочитал не наставление заблудшей душе, а технично одолел стометровку.

«Пойдет, – подумал я, – в конце концов, меня ведь не пытают и не запугивают, а стараются развеселить, хотя бы таким способом».

– Да, Михаил, истинно так.

Он вздохнул и встал, просветленный. Подошел к столу, взял папку. Элегизм и мощь только что прозвучавшей кантаты играли на его щеках огромными пурпурными запятыми.

– Владимир, – полуторжественно, но уже начиная приходить в себя, произнес чекист, – твоя ситуация сейчас такова: ты оказался самым подходящим кандидатом на роль двойника президента. Наши спецслужбы уже некоторое время довольно… пристально… ищут фигуру на эту позицию. Был много кандидатов, но ты оказался самым достойным. – Подсмотрел в папку. – Мы вовремя тебя заметили и вели уже несколько месяцев. Тем более что твоя театральная карьера, – опечаленный, настороженно-недовольный взгляд мимо меня в стену, – дошла до своего логического завершения. Ты меня понимаешь? – Чекист приблизился ко мне, от него пахнуло сдержанным мужским парфюмом. – Ты меня понимаешь? – повторил он, настаивая на том, чтобы я понял: что назад дороги к дальнейшему падению у меня нет. И в острых дулах его зрачков я прочитал насмешливое безумие: «Думаешь, это ты меня пасешь? Это мы тебя пасем! Так что под-

бери сопли и смейся, паяц!»

Последовала протянутая ладонь. Я взял ее, сложенную лодочкой, и поднялся.

В Древнем Риме оскорбление величия цезаря каралось смертью. Подобное подразумевает и наше законодательство. Искупить преступление ценой отказа от своей личности во благо личности государственной – разве это не есть тот самый путь в «сладчайший сад духовных наслаждений и праведности»?

6. Лирическое отступление в сосны

Мое окно выходило в большой, холодный лес.

Стволы сосен, перемежаясь с опушенными снегом ветвями, представляли пространство, вероятно, более плотным и занятым, чем это было на самом деле. Поэтому лес, тропинка в нем, забор вокруг дачи – все это казалось каким-то специально запутанным, обманным, замаскированным. Изредка в спускающихся сумерках между деревьев мелькали фигуры людей. Впрочем, как-то раз, наблюдая за одной из фигур – наверняка, следит за моим окном, настойчиво, уверенно вертелось в голове, – я распознал в ней причудливую тень, собравшую в себе пригорок, пенек, пушисто заваленный снегом и часть какого-то огородного строения – вероятно, теплицы. Разглядев эти детали, когда солнце ушло, я посмеялся над своей мнительностью и возвратился к рутин-

ному занятию нескольких последних дней: чтению «Махабхараты». Безусловно, в моей ситуации это был самый худший вариант литературного развлечения. Сейчас, чтобы успокоиться, выпрямить мысли, собрать остатки воли, самообладания, мне гораздо больше подошел бы нудный, но упорядоченный и обнадеживающий «Робинзон Крузо». Человек на острове в лесу, потерпевший крушение прежней жизни. Возврата к которой, как объяснили, быть не может. Однако заботливая рука Светлова подложила именно этот запутанный, с цветастыми сюжетами и иллюстрациями издевательски плотный фолиант, подарочное издание. Обычно сеансы чтения длились недолго и заканчивались отличным и глубоким сном.

Но, конечно, за мной все-таки наблюдали. Если в течение нескольких дней после беседы с сотрудником внутренней службы безопасности меня почти не беспокоили, то в этот раз, как только я, зевнув, прилег на диван с пресловутым эпосом, в комнату, вежливо постучавшись, заглянул Светлов.

Одет он был по-зимнему и по-загородному: шуба, валенки, мягкая ушанка, стыдливо скомканная в руках. Одна из завязок игриво замотана на мизинце.

– Владимир Иванович, не пора ли прогуляться? – Несмотря на свое прошлое дружеское достижение, общаться он почему-то решил снова на «вы». Он был с улицы, и превосходные, характерные огромные запятые краснели у него на ще-

ках.

– Извольте…

Тут же из-за спины моего провожатого возник бодрый, стройный молодец, – вероятно, один из тех пушкинских сотоварищей Черномора, с лицом правильным и совершенно общим его выражением. Он поставил в комнату пару новеньких, угольных, чувствительных валенок, на них аккуратно примостил точно такую же, как у чекиста, ушанку, заботливо подоткнув кончики завязок, и, растопырив, словно изнанку медвежьей шкуры, развернул ватную, объемную, как одеяло, шубу.

– Извольте… – повторил я, второпях неуклюже бросив невзлюбленную книгу, и вдел руки в услужливо подготовленные рукава.

Уже сильно свечерело. Солнце давно укатило на запад, оставив среди сосен, казавшихся горными выветренными столпами, остатки своего тяжелого багрянца в замерзших, тусклых лунках. Мороз буквально наливался тяжелым, синим свинцом. Светлов указал рукой на тропинку, уводившую в сосны, и тут же на деревьях вспыхнули небольшие лампочки под треугольными козырьками. Для нашего удобства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.